**Батюшков и Жуковский - первые русские поэты-романтики**

Русский романтизм принято делить на несколько периодов: начальный (1801-1815), зрелый (1815-1825) и период последекабристского развития. Однако по отношению к начальному периоду условность этой схемы бросается в глаза. Ибо заря русского романтизма связана с именами Жуковского и Батюшкова, поэтов, чье творчество и мироощущение трудно ставить рядом и сравнивать в рамках одного периода, настолько различны их цели, устремления, темпераменты. В стихах обоих поэтов еще ощущается властное влияние прошлого - эпохи сентиментализма, но если Жуковский еще глубоко укоренен в ней, то Батюшков гораздо ближе к новым веяниям. Белинский справедливо отмечал, что для творчества Жуковского характерны “жалобы на несвершенные надежды, которым не было имени, грусть по утраченном счастии, которое Бог знает в чем состояло”. Действительно, в лице Жуковского романтизм делал еще свои первые робкие шаги, отдавая дань сентиментальной и меланхолической тоске, смутным, едва уловимым сердечным томлениям, одним словом, тому сложному комплексу чувств, который в русской критике получил название “романтизм средних веков”. Совсем иная атмосфера царит в поэзии Батюшкова: радость бытия, откровенная чувственность, гимн наслаждению. Пластичность и изящная определенность формы сближает его с классической литературой античности.

Жуковского по праву считают ярким представителем русского эстетического гуманизма. Чуждый сильным страстям, благодушный и кроткий Жуковский находился под заметным влиянием идей Руссо и немецких романтиков. Вслед за ними он придавал большое значение эстетической стороне в религии, морали, общественных отношениях. Искусство приобретало у Жуковского религиозный смысл, он стремился увидеть в искусстве “откровение” высших истин, оно было для него “священным”. Для немецких романтиков характерно отождествление поэзии и религии. То же самое мы находим и у Жуковского, который писал: “Поэзия есть Бог в святых мечтах земли”. В немецком романтизме ему особенно близким было тяготение ко всему запредельному, к “ночной стороне души”, к “невыразимому” в природе и человеке. Природа в поэзии Жуковского окружена тайной, его пейзажи призрачны и почти нереальны, словно отражения в воде:

Как слит с прохладою растений фимиам!

Как сладко в тишине у брега струй плесканье!

Как тихо веянье зефира по водам

И гибкой ивы трепетанье!

Чувствительная, нежная и мечтательная душа Жуковского как будто сладко замирает на пороге “оного таинственного света”. Поэт, по меткому выражению Белинского, “любит и голубит свое страдание”, однако страдание это не уязвляет его сердце жестокими ранами, ибо даже в тоске и печали его внутренняя жизнь тиха и безмятежна. Поэтому, когда в послании к Батюшкову, “сыну неги и веселья”, он называет поэта-эпикурейца “родным по Музе”, то трудно поверить в это родство. Скорее мы поверим добродетельному Жуковскому, который дружески советует певцу земных наслаждений: “Отвергни сладострастья погибельны мечты!”

Батюшков - фигура во всем противоположная Жуковскому. Это был человек сильных страстей, а его творческая жизнь оборвалась на 35 лет раньше его физического существования: совсем молодым человеком он погрузился в пучину безумия. Он с одинаковой силой и страстью отдавался как радостям, так и печалям: в жизни, как и в ее поэтическом осмыслении, ему - в отличие от Жуковского - была чужда “золотая середина”. Хотя его поэзии также свойственны восхваления чистой дружбы, отрады “смиренного уголка”, но его идиллия отнюдь не скромна и не тиха, ибо Батюшков не мыслит ее без томной неги страстных наслаждений и опьянения жизнью. Временами поэт так увлечен чувственными радостями, что готов безоглядно отринуть гнетущую мудрость науки:

Ужели в истинах печальных

Угрюмых стоиков и скучных мудрецов,

Сидящих в платьях погребальных

Между обломков и гробов,

Найдем мы жизни нашей сладость?

От них, я вижу, радость

Летит, как бабочка от терновых кустов.

Для них нет прелести и в прелестях природы,

Им девы не поют, сплетаясь в хороводы;

Для них, как для слепцов,

Весна без радости и лето без цветов.

Подлинный трагизм редко звучит в его стихах. Лишь в конце его творческой жизни, когда он стал обнаруживать признаки душевного недуга, под диктовку было записано одно из его последних стихотворений, в котором отчетливо звучат мотивы тщеты земного бытия:

Ты помнишь, что изрек,

Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек?

Рабом родился человек,

Рабом в могилу ляжет,

И смерть ему едва ли скажет,

Зачем он шел долиной чудной слез,

Страдал, рыдал, терпел, исчез.